

А.В. КУБАСОВ

*(Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия)*

УДК 821.161.1-43(Гончаров И.А.)
ББК ШЗЗ(2Рос=Рус)-8,44

ИРОНИЧЕСКАЯ ПАЛИТРА И.А. ГОНЧАРОВА- ОЧЕРКИСТА

Аннотация. В статье рассматривается очерк И.А. Гончарова «По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске», завершающий творчество писателя. Последнее произведение отражает основные особенности идиостиля писателя. Основное внимание в статье уделено характеру иронии. Ей свойствен достаточно широкий диапазон: от едва уловимой до резко выраженной, соотносимой с сатирой. Другое качество иронии Гончарова – ее амбивалентность, связь не только со смехом, но и с драматическим мироощущением. В работе ставится проблема соотношения правды и творческой фантазии в жанре путевого очерка. Их диффузия позволяет относить анализируемое произведение к очерковой прозе, в которой совмещается публицистически-описательный дискурс с художественным. Следствием этого является то, что рассказчик в очерке не тождествен автору. Первый является субститутом второго.

Ключевые слова: И.А. Гончаров, очерковая проза, ирония, рассказчик.

«По Восточной Сибири. В Якутске и в Иркутске» – образец позднего творчества И.А. Гончарова. Будучи написанным в 1889 году и опубликованным в начале 1891 года, то есть в самом конце жизни писателя, очерк *de facto* оказывается одним из завершающих его произведений. В свёрнутом виде очерк содержит основные особенности идиостиля писателя, в числе которых, безусловно, должна быть названа ирония. Задача настоящей работы – раскрыть формы воплощения иронической модальности в этом очерке.

Показательно, что Гончаров обращается к дописыванию, а отчасти и переписыванию того, что уже было создано им ранее. Речь идёт, конечно, о «Фрегате “Палладе”», книге, которая играет роль фонового произведения для читателя. Она изначально задает характер диалога автора с самим собой и своими одновременными ипостасями путешественника и мемуариста. Кроме диалогичности, обусловленной возвращением к уже известному материалу, есть диалогичность, связанная с собственно эстетической проблемой. Это проблема иронии, которая может быть поставлена в разных аспектах. Нас она интересует с точки зрения теории прямого и преломленного слова, разрабатывавшейся в отечественной эстетике, прежде всего, М.М. Бахтиным. Для него всякое ироническое слово – это слово двуголосое, «неизбежно

рождающееся в условиях диалогического общения, то есть в условиях подлинной жизни слова» [Бахтин 1979: 214]. Понятие «двуголосого слова» является родовым, в качестве видовых его разновидностей ученый называет стилизацию, пародию, сказ и композиционно выраженный диалог. В записях учёного, сделанных в 1970-1971 гг., есть замечание о вездесущности иронии: «Ирония есть повсюду – от минимальной, неощущаемой, до громкой, граничащей со смехом. Человек нового времени не вещает, а говорит, то есть говорит оговорочно. <...> Язык Пушкина – это именно такой, пронизанный иронией (в разной степени), оговорочный язык нового времени» [Бахтин 1986: 355]. Думается, что сказанное не в меньшей степени относится и к И.А. Гончарову.

Начало «По Восточной Сибири» далеко не ироническое, потому что сам предмет изображения никак не настраивает автора на такую тональность. Недаром, давая исходные сведения о Якутске, автор очерка дает отсылку к сугубо серьезному произведению – поэме К.Ф. Рылеева «Войнаровский». Помимо диалога с самим собой и литературными предшественниками, автор задает еще одну форму диалогичности – с читателем, рассказчик полемизирует с выразителями скептической точки зрения: «Да это и в Петербурге все есть, – скажет читатель, – и широкая река, снегу – вдоволь, сосен – сколько хочешь, церквей тоже у нас здесь немало» [Гончаров 1978: 473-474¹].

Очевидно, что все годы, прошедшие после кругосветного путешествия Гончарова и написания им очерковой книги, в сознании писателя жила мысль о неполноте его рассказа, о связанности автора различного рода условиями, в том числе и цензурными, не позволявшими ему в полной мере раскрыть особенности ссыльных мест. Главное же – написать о людях, населявших эти места. Если во «Фрегате “Палладе”» описание Якутска и Иркутска носило характер недавнего прошлого, сохранявшего свой status quo и в момент выхода произведения, то в очерке 1891 года эти события приобретают характер плюсквамперфекта, давнопрошедшего времени, что и обусловило большую степень внутренней свободы автора, не скованного никакими внешними условиями.

Рассказчик ставит перед собой задачу показать сибиряков, которые для жителей Петербурга такая же экзотика, как жители какого-нибудь Цейлона: «Но бог с ней, с мертвою, ледяною природой! Обращусь к живым людям, каких я там нашел» (474). Рассказчик выступает

¹ Здесь и далее цит. по: [Гончаров 1978] – с указанием страницы в тексте статьи. Курсив, кроме специально оговоренных случаев, везде наш. – А.К.

как посредник между двумя неслиянными социально-географическими стратами: россиянами-европейцами и россиянами-сибиряками: «Я в день, в два перезнакомился со всеми жителями, то есть с обществом, и в первый раз увидел настоящих сибиряков в их собственном гнезде: в Сибири родившихся и никогда ни за Уральским хребтом с одной стороны, ни за морем с другой – не бывших. Петербург, Москва и Европа были им известны по слухам от приезжих “сверху” чиновников, торговцев и другого люда, как Америка, Восточный и Южный океаны с островами известны были им от наших моряков, возвращавшихся Сибирью или “берегом” (как говорят моряки) домой, “за хребет”, то есть в Европу» (475). Про сибиряков сказано, что они родились «в собственном гнезде». В этом фрагменте мы встречаем, пожалуй, первый случай иронии, которая функционально связана, помимо прочего, с самоидентификацией рассказчика. Место рождения человека для него не формальность, а косвенное указание на ментальные различия тех, кто родился по разные стороны от Уральского хребта, который становится не только географической границей между Европой и Азией, но и границей антропологической, разделяющей людей по мировидению и миропониманию. Важна и еще одна граница, проходящая не по оси абсцисс, а по оси ординат: жители Сибири ощущают себя живущими «внизу», тогда как европейская часть России, где сосредоточено начальство, живёт «вверху». Еще одно слово из приведенного фрагмента, имеющее эмоционально-экспрессивную окраску, – это слово «берег». Будучи нейтральным в устах обычного человека, оно приобретает характер профессионализма в речи моряков. Для них оно оказывается синонимом суши в целом. Рассказчик употребляет слово «берег» в завышенном виде, как не вполне соприродное его тезаурусу. Он на мгновение надевает на себя речевую маску опытного моряка, и это тоже рождает едва заметный иронический обертон.

Самоидентификация рассказчика связана с европейской частью России, с ментальными особенностями ее жителей, с их словарем. Как для моряка характерно особое употребление слова «берег», так для петербуржца характерно своё, не общепринятое для всех слоев населения употребление слова «общество». Очевидно, что в столице оно синонимично выражениям «высшее общество» или «образованное общество». Рассказчик не завычивает это слово, так как для него оно привычно, укоренено в его сознании. Здесь ирония рождается не за счет нарушения узуса, а за счет переосмысления привычного содержания понятия. В сибирских городах-«гнездах» «общество» для жителя столицы непривычно малоллюдно. Да и качественно оно непривычно, поэтому и появляется словечко «люди». Рассказчик соотносит себя со сво-

ей референтной группой и удивляется: «Итак, весь люд составляло общество, всего человек, сколько помнится, тридцать, начиная с архиерея и губернатора и кончая чиновниками и купцами. Все это составляло компактный круг, в котором я, хотя и проезжий с моря – по застигшим меня морозам и частию по болезни ног, занял на два месяца прочное положение и не знал, когда выеду» (475). Подтекстно рождающаяся ирония связана здесь с причинами вовлечения рассказчика в высшее губернское «общество»: морозы и болезнь ног, не позволившие продолжать путь. Но поскольку рассказчик «проезжий с моря», да вдобавок и едущий «наверх», он легко и быстро занимает в этом обществе «прочное положение», хотя ему оно совсем не нужно. Очеркист берет здесь со своей иронической палитры уже другую краску, используя едва заметную самоиронию.

Сибирь представляется рассказчику неким подобием «социально-го холодильника», в котором заморожены формы бытия и людские типы, которые давно повывелись в европейской части страны. Именно они привлекают внимание путешественника. Рассказчик описывает «сибирскую буржуазию, там на месте урожденную, выросшую и созревшую или, скорее, *застывшую в своих природных формах* и оттого имеющую свой сибирский отпечаток: со своим оригинальным свободным взглядом на мир божий вообще и свой независимый характер, безо всякой печати крепостного права, хотя в то же время к “предержавшим властям” почтительную, скромную, но носящую в себе свое достоинство» (475). Такой подход к предмету описания открывает давнюю генетическую связь писателя с традициями натуральной школы, стремившейся исследовать всю социальную гамму России. «Общие истоки очеркового наследия Гончарова следует искать там же, где и его романа, – в эпохе 40-х годов и художественном мышлении натуральной школы» [Недзвецкий 1980: 416]. Очевидно, что огромный «угол» России, именуемый Сибирью, казался Гончарову и в 1891 году еще не до конца описанным и познанным, хотя летом 1890 года в «Новом времени» писатель совсем другой генерации публикует девять очерков «Из Сибири». Это был А.П. Чехов. Однако тексты обоих авторов всё равно были каплей в море, не могущей исчерпать всей глубины сибирской проблематики.

Основное содержание очерка Гончарова составляет «целая галерея полных жизни лиц», то есть серия портретных очерков. Начинает рассказчик с самого верха, с генерал-губернатора Восточной Сибири. Это «известный впоследствии под именем графа Амурского, Николай Николаевич Муравьев». Незаурядная личность генерал-губернатора становится своего рода точкой отсчета для всех последующих людей, в

том числе и якутского губернатора. Соблюдая бонтон в отношении этого должностного лица, рассказчик прибегает к замещению его подлинного имени условным именованим, что позволяет ему не оскорблять человека и вместе с тем оставаться свободным при его характеристике: «Губернатором же был – назову его Петром Петровичем Игоревым (настоящих имен я принял за правило не приводить: не в именах дело) – бывший до Якутска губернатором в одной из губерний Европейской России, где как-то неумело поступил с какими-то посланными в ту губернию на жительство поляками – и будто бы за это “на некое был послан послушанье” в отдаленный край. Стало быть, он в своем роде был почетный ссыльный. Лично любезный, тонкий, пожалуй, образованный... чиновник. Чиновник – от головы до пят, как Лир был король от головы до пят» (476). Ироническая окраска повествования связана в данном случае с переинтонированием, со специфическим «переводом» трагедий (Пушкина и Шекспира) в комический регистр. С помощью отсылки к классическим героям рассказчик устанавливает контакт со своим читателем (фатическая функция иронии), который предполагается образованным европейцем, способным к нужным ассоциациям и созданию с их помощью необходимого контекста. Рассказчик использует прием обманутого ожидания, нарушая привычную лексическую валентность. Привычное выражение «образованный человек» неожиданно прерывается многоточием, а затем подменой компонента в привычном клише – «образованный... чиновник». Аксиология рассказчика и его героя явно расходятся. Если для рассказчика приоритетом является собственно человеческое, личностное начало, то для губернатора – статусное, иерархическое, казенное. Характеризуя якутского «Петра Петровича», рассказчик старательно избегает слова «человек», что соотносится с мировидением самого героя, а не того, кто о нем повествует.

От характеристики одного лица автор переходит к широкому обобщению: «Сибирь не видала крепостного права, но вкусила чиновничьего – чуть ли не горшего – ига. Сибирская летопись изобилует такими ужасами, начиная с знаменитого Гагарина и кончая... не знаю кем. Чиновники не перевелись и теперь там. Если медведи в Сибири, по словам Сперанского, добрее зауральских, зато чиновники сибирские исправляли их должность и отличались нередко свирепостью» (476-477). Здесь уже не мягкая ирония, сопровождаемая улыбкой, какая была ранее, а горькая, едкая. Это ирония, сопряженная сатире, восходящая к традиции М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.А. Некрасова. Хотя автор и не дает аллюзий на конкретные произведения поэта, они поневоле рождаются. В частности, вспоминается «Генерал Топтыгин».

Будучи сам длительное время чиновником, Гончаров старательно избегает чиновничьего языка. А если и использует его, то делает объектным, не изображающим, а изображаемым. Чиновничьи речевые обороты даются им в иронических кавычках как чуждые сознанию рассказчика: «Игорев “изложил ему свою просьбу” в виде нового приглашения на новую “убогую трапезу”».

Если бы весь очерк был сплошь пронизан иронической тональностью, то был бы однообразен. Тотальная ироничность была бы чревата скептицизмом. Многокрасочность очерка заключается в использовании того, что физики называют «колебательном контуром» между серьезным, подчас даже пафосным отношением к описываемому и иронической модальностью. До пафоса рассказчик возвышается тогда, когда чувствует и понимает, что перед ним такая «крупная историческая личность», как Муравьев или архиепископ Иннокентий, «которому суждено было впоследствии занять кафедру московского митрополита». В качестве масштабной линейки, прикладываемой к людям, рассказчику служит Сибирь как особое жизненное пространство. Оказывается, что сибирскому размаху соответствует не так уж много личностей. И когда такие люди встречаются рассказчику, то он испытывает вовсе не иронию, а патриотизм, гордость за свою страну. Таков его отзыв об архиепископе Иннокентии: «Личное мое впечатление было самое счастливое. Вот природный сибиряк, самим господом Богом для Сибири ниспосланный апостол-миссионер!» (480). Лишен иронии и фрагмент, посвященный Н.Н. Муравьеву и его жене.

Показательно, что умный человек, по Гончарову, не может не владеть иронией. Владыка Иннокентий именно такой человек: «Его превосходительство “без просьбы” к убогой трапезе не пригласит! – *не без иронии заметил архиерей.* – Я, ваше превосходительство, со своей стороны, готов исполнить приказание, но надо доложить архиерею: не знаю, какую резолюцию он положит, позволит ли монаху Иннокентию отлучиться из кельи – хоть бы и “на убогую трапезу” к игемону Петру...» (481). Таким образом, владыка в очерке оказывается личностью, которая, пожалуй, ближе всех подходит под психотип рассказчика и его речевую манеру.

Особый интерес представляют мелкие иронические (можно сказать, точечные) инклюзии, с помощью которых к основному серьезно-му тону добавляется иронический обертон. Так, рассказчику порой достаточно добавить всего лишь просторечный элемент, чтобы выразить свою позицию: «Все объявляли, что приходят ко мне как к заезжему гостю и как к человеку, которого очень хвалил, *слышь*, Николай Николаевич преосвященному и губернатору» (482). Разговорный эле-

мент, включенный в ткань повествовательной фразы, внутренне диалогизует её, делая двуголосой и, как следствие, ироничной.

Напомним, что, по М.М. Бахтину, одна из форм диалогизации – это «композиционно выраженный диалог». Он со времен «Обыкновенной истории» был в арсенале активных выразительных средств Гончарова-беллетриста. Иронический диалог рассказчика с якутским жителем Иваном Ивановичем Андреевым (скорее всего, это тоже вымышленная номинация героя) является существенным компонентом повествования. Здесь создаётся речевой портрет другого типа сибиряка, коренного, родившегося в своём гнезде и никогда из него не выезжавшего. Такой сибиряк характеризуется завидным здоровьем и простотой нравов. Рассказчик беседует с ним о водке и нервах, описывая иронически не только визави, но и себя:

– Что это такое? – спросил я.

– А водка-с!

– Я не пью водки, ведь вы знаете! – сказал я засмеявшись.

– Знаем, знаем – не в первый раз мы это видали... Но вы никого не потчуете!.. Мы сами выпьем.

Он с любовью посмотрел на бутылки и всё не мог успокоиться и приговаривал:

– Как же не пить водки!

– Я не пью не от добродетели, – заметил я, – а потому что нервы мои не позволяют.

Он задумался и налил себе рюмку.

– Нервы! – повторил он и от удивления захлопал глазами (482-483).

Проблема самоиронии связана с самообъективацией рассказчиком своего ролевого обличия, ролевого поведения, а также с попыткой взглянуть на себя как бы со стороны другого, в данном случае – природного сибиряка. Смех рассказчика, сопровождающий его реплику, призван стать самозащитой перед реакцией человека, с подобострастием и даже пиететом относящимся к «водке-с».

Другой спиртной напиток, шампанское, более приемлем для рассказчика, но для сибиряков он не такая повседневность, как водка. Недаром шампанское имеет перифрастическое местное именование. Оно знак европейкой культуры. Как рассказчик, живущий «вверху», отличается от живущих «внизу» сибиряков по статусу, так шампанское отличается от водки. Оба эти напитка иронически персонажируются. Провожая рассказчика, его потчуют шампанским: «Там опять из саней вынырнуло “холодненькое”, и ему снова была оказана немалая честь» (490).

Приведенный выше композиционно выраженный диалог позволяет поставить значимую проблему соотношения правдоподобия и вымысла в жанре очерка. Передавая события почти тридцатилетней давности, писатель просто не мог помнить детали каких-то разговоров, их интонации, обстановки и т.д. Всё это воссоздается им не столько на основе памяти, сколько на основе творческой фантазии. Очерк становится синтетическим жанром, в котором сплавляются особенности художественного и публицистического дискурсов, что и позволяет относить подобного рода тексты к *очерковой прозе*. Мера очерковости и мера художественности, очевидно, в разных произведениях различна. Факторами, обуславливающими усиление художественного начала, следует признать беллетристический опыт очеркиста, а также величину дистанции между временем событийным и временем создания произведения. Не стоит сбрасывать со счета и авторское стремление запечатлеть не временное, преходящее, реально-бытовое, а конститутивное, типовое, сущностное. Эти интенции свойственны сознанию Гончарова, который в очерковой прозе изображает, по удачному выражению В.А. Недзвецкого, «не столько бывшее, сколько *бывавшее*» [Недзвецкий 1980: 419. Курсив автора. – А.К.]. Все эти возможные варианты «бывания» и призван воплотить художественный дискурс, вводимый по отношению к дискурсу публицистическому.

Отдельно стоит сказать о проблеме соотношения автора и рассказчика в очерке. Они близки по типу мироотношения, но все-таки не тождественны друг другу, так как представляют собой явления разной эстетической природы. Автор – это творец созданного им очеркового мира. Он занимает позицию вневходимости. Рассказчик же обладает двойным статусом: он и субъект повествования, и одновременно объект его. Очерковый рассказчик – это субститут автора, но не сам автор. Личность рассказчика раскрывается в его взаимоотношениях с разными людьми, в особенностях его рефлексии и саморефлексии, в примеривании на себя разных социально-ролевых масок. Всё это и обуславливает использование Гончаровым не только прямого слова, но и преломленного, то есть в той или иной мере ироничного, двуголосого.

Завершается очерк описанием сосланных декабристов и людей, с ними связанных, а также Петрашевского. «Делать больше в Иркутске было нечего. Я стал уставать и от путешествия по Сибири, как устал от путешествия по морям. Мне хотелось скорей в Европу, за Уральский хребет, *где... у меня ничего не было*» (496). Ироническая линия повествования внезапно открывает свою драматическую подкладку, что вносит коррективы в образ рассказчика. Помещенный в разные социальные среды, в разные жизненные ситуации, он полнее других героев

раскрывается в этом позднем очерке.

Пройдёт чуть больше полугода с момента публикации очерка, и биографический автор очерка уйдёт из жизни. Поэтому финал произведения воспринимается не только как разовая точечная оценка рассказчиком эпизода своей биографии, но и как подведение автором своего общего горького жизненного итога.

Концептуальный смысл иронии Гончарова связан со стремлением автора к возвышению над смешной и одновременно драматичной жизнью. Ироник понимает, что изменить действительность в соответствии с желаниями человека невозможно, равно как и принять сложившийся порядок вещей. Такого рода иронии присущ горький привкус, интонационная амбивалентность. Именно так и завершается не только очерк И.А. Гончарова, но, по существу, и всё творчество писателя. В будущем такой тип иронии будет воплощен в произведениях А.П. Чехова, который недаром какое-то время признавал Гончарова своим «полубогом».

ЛИТЕРАТУРА

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М. : Сов. Россия, 1979.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1986.

Гончаров И.А. Собр. соч. : в 8 т. М. : Худож. лит., 1978. Т. 3.

Недзвецкий В.А. Гончаров-очеркист // Гончаров И.А. Собр. соч. : в 8 т. М. : Худож. лит., 1980. Т.7. С. 414- 440.